

НА ОСТРОВЕ

Чавкает под ногами раскисшая от дождей и талого снега земля. Тяжесть ружья который час давит на плечо. Приноравливаясь, перекидываю его с правого плеча на левое, но это ухищрение помогает мало. Серо, угрюмо, бессолнечно вокруг, оттого и кажется дорога нескончаемой.

Юра, хозяин теперешней нашей весенней охоты, напротив, идёт бодро. В его движениях ни утомления, ни усталости. Правда, и разговора, затеянного было мной о его собаках — двух лайках, смоляно-черных красавицах, — не поддерживает. Я заговорил о том, как было бы здорово на них смотреть сейчас, как, радуясь приволью, бежали бы они впереди нас по дороге, то забегая далеко вперед, то теряясь в густом кустарнике у обочин.

— Гладишь, и нам веселее было бы.

— А как их к бивуаку переправлять? На лодке? Так они её опрокинут, покупаешься в ледяной-то воде. На острове бани нет.

Юра горбится под тяжестью рюкзака. Изредка поправляет его движением плеча.

Так, почти не разговаривая, мы пробираемся вдоль неустроенной, растерзанной проселочной дороги к болотам.

На самом деле это, конечно же, никакие не болота, а громадные прямоугольные карьеры, оставшиеся после торфоразработок, которых со временем образовалось в Нижегородском Заволжье немало. Торф выработывался, карьеры бросались, зарастали камышом, ивняком. Вокруг поднимался лес, скрывающий их от продувающих ветров. Посёлки, выстроенные для жизни работавших тут людей, также оказались брошенными. И только из рассказов я знал, что когда-то кипела здесь жизнь, игрались свадьбы, рождались и подрастали дети, играли на гармошках старики на площади у магазина, влюблялась в местном клубе молодежь. Куда всё это делось, где растаяло? Брошенность и неуютное запустение окрест. Выбитые окна в ещё уцелевшем клубе. Порухенные и поруганные непотребными словами дома, когда-то служившие людям убежищем от непогод, дарившие радость отдыха после изнурительного труда.

Сейчас это царство перелётной дичи. Карьеры облюбовали утки. Сюда они прилетают по весне, всё лето выращивают потомство, ставят его на крыло. Сюда во время перелёта опускаются они на воду отдохнуть и подкормиться. А в прибрежном лесу хватает корма и лосю, и кабану. Есть где спрятаться и боровой дичи. Потому охотники также

эти места стороной не минуют. Потихоньку обустроивают «под себя», ставят шалаши. Кто поосновательнее — обзавелись лодчонками, кое-какой утварью. И превратились участки карьеров вроде сокрытых от постороннего взгляда дач.

— Ну, дач не дач, а так... чтоб покомфортнее было. С ранней весны до поздней осени все выходные, отпуска проводили на карьере. Охотимся, рыбу ловим. Волей-неволей будешь думать, как получше стол сколотить, где лавки поставить, как шалаш сделать, чтоб в него в непогоду укрыться можно было. Чтоб дождь его не заливал, ветер не продувал.

Но вот дорога обрывается, теряется в обступившем лесу и речном разливе.

Дальше идти некуда.

Юра берёт левее. Сквозь мелкий березняк пробирается к слегка дымящему костерку.

У костра хозяин приготовил котелок с водой. Разделанная тушка щуки белеет влажной белой мякотью. Я невольно слатываю слюну и только сейчас чувствую, как голоден.

Холодная весенняя вода лениво шевелится у затопленных стволов.

— Как карьеры, вскрыло? — осведомляется Юра у хозяина костерка, вытягивая из углей тлеющую веточку.

— Куда там... К вечеру, если ветер поднимется, так немного поразобьёт. А за ночь опять всё встанет. Утка не садится, летит на большую воду, к Волге.

— Так чего ждёшь? Пробирался бы к дому, — Юра прикуривает и бросает ветку в огонь.

Хозяин костра отвечает не сразу. Я смотрю с любопытством на его узел теплой одежды, воткнутой в чурбачок нож. Пытаюсь определить возраст и профессию охотника. Но ничего не выходит. На природе в добытческом азарте происходят с человеком странные вещи. Обыденное, повседневное, кажущееся вьёвшимся в натуру, внешний его облик на веки вечные, странным образом исчезает, словно смывается. Видно только, что человек в лесу бывалый.

Оставляем костер. Проходим вдоль воды к небольшой поляне, скидываем рюкзаки, вынимаем из чехлов ружья.

Несётся над водой к дальнему «второму» карьере громкое:

— Ва-ди-м! Ва-ди-муш-ка-а...! Э-э-эй!

И мы располагаемся на земле, дожидаясь лодки.

Я смотрю в тёмную, но прозрачную воду, слежу взглядом за плавно движущимся у дна бурым стебельком осоки и ловлю себя на мысли, что вот уже года три, как я не сидел у воды в таком покойном, умиротворённом душевном состоянии. Огромный город с проблемами и заботами, обидами и обещаниями остался где-то в неведомомдалеке.

Второй раз привели меня охотничьи странствия в эти места.

Впервые побывал я здесь в осеннее, ненастное время. Хотя по временам проглядывало солнце, моментально прогревая воздух, будто специально напоминая о совсем недавно прошедшем лете.

Расположились мы тогда на берегу карьера. За дичью уходили через лес за бровки к камышам. Назад возвращались ночью, в кромешной темноте, чаще всего пустыми. Поднятые из камышей утки, словно загадав наше расположение, сразу уходили наискось в дальний угол болота, высоко, недосягаемо для заряда поднимались над лесом.

Собаки подбегали к нам, останавливались, словно удивляясь, отчего мы не стреляем, и снова скрывались в камышах, шурша пожухлой осенней осокой и хлюпая лапами в неглубокой, перемешанной с тиной воде.

Промокшие, раздосадованные, мы возвращались к потухшему костру, хлопотали, чтобы вновь его разжечь и успеть напиться чаю с ароматными, терпко пахучими яблоками, пока дождь, как по команде начинающий моросить с наступлением темноты, не загонял нас под навес — единственное укрытие, сооружённое для хранения припасов.

Но как ни торопились, всё же дождь заставлял нас не ко времени. И тогда, стараясь миновать блестящие в свете фонарика лужи, мы торопливо шли с Вадимом к его шалашу, сооружённому на стареньком брошенном понтоне.

Забравшись в теплый, пропахший соломой шалаш (сбитый из досок, покрытый толем — сооружение основательное, не на сезон-два, а на долгие годы, строительство которого потребовало от хозяина и выдумки, и терпения, и настойчивости), мы зажигали свечу в подвесном фонаре, передевались в сухое, закутывались в ватники, закуривали и, изредка переговариваясь, начинали слушать карьер.

Громко, непрерывно, зазывно крикали подсадные утки. Шуршал в кронах деревьев несильный ночной ветер. Слабо стучали по крыше капли мелкого осеннего дождя.

Не выдержав, я тогда встал на колени, раздвинул сухие листья камыша, скрывающие бойницу, и, выглянув, посмотрел на озёрную гладь. Силуэты чучельев, будто играя друг с другом, то плывя навстречу, то расплываясь в разные стороны, по-живому шевелились на поднявшейся волне. Одна из подсадных уток залезла на фанерный кружок торчащего над водой кола и застыла на одной ноге, слабо отвечая двум другим ленивым, дремотным покрякиванием. Звёзд не видно. Небо заволокло, оттого поселяется в груди неуютный холодок...

Я вновь ложусь на солому, устраиваю поудобнее ружьё. Вадим задувает свечу, и мрак обваливается на наше убежище.

Я словно растворяюсь в этом мраке, теряюсь, исчезаю. От этого ощущения жутко и радостно одновременно. Закрываю глаза с одним желанием — не спать. И тут же проваливаюсь в сон... или в мечту. Мне до сердечного беспокойства хочется, чтобы утки подсели к нашим чучелам.

Раздаётся выстрел. Я приподнимаюсь на локти. Вадим опускает ружьё и опять укладывается.

— Есть одна серка...

В шалаше пахнет сгоревшим порохом. Запах слегка пьянит... Или это азарт сверх всякой меры захлестывает сознание. Я лежу, боясь пошевелиться, и до звона в ушах вслушиваюсь, пытаюсь определить, что сейчас происходит за стенами шалаша.

И вот оно... свершилось. Подсадные не крикают монотонно и безразлично, а словно с кем-то переговариваются, будто даже шепчутся негромко, доверительно.

Выглядываю в бойницу, полный надежды на охотничью удачу, и... ничего не могу разобрать в темноте. Силуэты чучельев сливаются с серой гладью воды.

— Вадим, — шепчу негромко, — слева три чучела?

— Да... Чего ты?

— Показалось, что подсела.

— Бывает.

Отставляю ружьё в угол, ложусь и с досады крепко засыпаю.

Утро. Карьер парит, клубится туманом.

Вылезаю из шалаша. Вольно, всей грудью вдыхаю напоённый сыростью, запахами грибов и подмороженной травы воздух.

Смотрю на карьер, рассматриваю неподвижно стоящие на воде чучела, такие контрастные, выпуклые в ровно разлитом утреннем свете... и даже вскрикиваю от досады.

— Ты же говорил, что три чучела слева, а их только два. Вадим смотрит на чучела, лениво поправляет патронташ, улыбается.

— Ну и что?

— Так я же тебя спрашивал! Значит, это утка ночью была?

— Чего же ты спрашивал, стрелять надо было.

Вадим по-доброму смеётся, и во мне тут же проходит досада на собственную неловкость, возможно, лишившую меня добычи, и понимаю, это лукавый подсмеялся надо мной. Уж больно мне хотелось охотничьего

трофея, сверх всякой меры и терпения. И это там, где необходимы расчётливость и хладнокровие. Довольные невесть чем, мы отправились к шалашу пить чай.

Что-то будет в эту охоту?

Лодка появляется неожиданно и бесшумно. Она аккуратно пробирается меж стволов деревьев, осторожно раздвигает носом прибрежные кусты. Слабое шуршание, и дно её уже вползает на пологий бережок. Юра ухватывается за борт, подтягивает лодку ближе к себе.

Вадим в высоких болотных сапогах с расправленными голенищами ступает в воду, затем выходит на берег.

Здороваемся, закуриваем. И первый вопрос:

— Ну как?

— Да никак! Лёд. Чучела вмерзают.

Утки прилетают, покружатся-покружатся и восвояси. Негде сесть.

Лодка — хрупкий каркас, обитый тонкими листами алюминия. Вадим называет её ботником.

Укладываем рюкзаки, усаживаемся осторожно, боясь зачерпнуть бортами студёную, пахнущую снегом и талым льдом воду. Уговариваемся, если налетят утки, — стреляет Вадим. Юра, ступая в воду, отталкивает наш лёгкий чёлн от берега. Несколько взмахов веслом с кормы, и берег мыска скрывается от взгляда за оголёнными, но частыми ветками ивняка.

Мы направляемся к острову.

Вадим сидит на корме, правит лодкой. Весло бесшумно погружается в темень воды, и от этого толчка лодка плавно скользит по водной глади.

Проплывают у борта стволы берез, осин, зелёные горки затопленных ёлочек и разлохмаченных сосен.

Мы выплываем к бровке канала.

Здесь двигаться попросторнее. Гребень бровки лишь изредка выглядывает из воды покатым коричневым боком.

Место, куда мы направляемся, на самом деле не остров, а вершина пригорка, поросшего мелким, толщиной в руку березняком да смородиновым кустарником. Вроде бы не место здесь смородине, да видно сказывается ежевесеннее затопление этих мест половодьем. Зато для охотничьего пристанища лучшего места не найти. И та же смородина с ещё только завязывающимися листиками и пахучей, сочащейся корой служит прекрасной ароматной добавкой к вскипающему на костре чаю.

На берег нас вышел встречать Саша Блохин — добродушно улыбающийся увалень. Оказавшись на твёрдой почве, первым делом жалуясь на голод.

Александр потирает руки, заговорщически улыбается, переглядывается с Вадимом.

— Сейчас угостим. Пошли к столу.

Мы поднимаемся на пригорок, и тут я вижу, что куда ни посмотри, метрах в тридцати по диаметру, поблёскивает меж белых берёзовых стволов вода.

Мы всё-таки на острове. В собственном охотничьем царствовании. С установившимся бытом, правилами и распорядком. Большая армейская палатка на случай дождя. Сколоченные из струганых досок стол, лавки. На сучках берёзы, стоящей поодаль, висят ружья, патронташи. На всём печать обжитости, даже домашности.

Саша ставит на стол котелок с аппетитно пахнущим варевом. Сам тоже присаживается. Хоть и заявляет, что не голоден, но ложку в руки берёт, тянется к закопчённому котелку. Да и как тут удержаться, когда куски тёмного нежного мяса подстреленных поутру селезней дразнят взгляд, тревожат аппетит.

Незаметно-незаметно да вдруг разом сумерки опускаются на карьер. Наступает время охоты.

Взволнованно закрывали подсадные, опущенные в приготовленные садки.

Берём их каждый себе и разносим по лодкам. Затем опять все вместе собираемся на берегу, дружно закуриваем, прежде чем оставить на ночь сиротливо опустевший остров-бивак до следующего утра.

Вадим с Юрой два брата-близнеца, но охотятся порознь. У каждого на карьере свой обжитой шалаш. Потому они разъезжаются поодиночке. Мы с Сашей отправляемся на дальнее болото вместе. Пока добираемся на лодке до спрятанного в камышах шалаша, совсем темнеет. Расставляем чучела, высаживаем подсадную и, причалив к возвышающемуся на кольях над водой шалашу, осторожно забираемся внутрь, закрывая за собой вход брезентом.

Теперь удачи да терпения — это всё, чего мы просим и ждём от судьбы. Ведь охотничья судьба и коварна, и капризна, и поучительна.

Впервые я пошел в лес с охотничьим ружьем, когда мне было четырнадцать лет. Тогда я приехал на родину в Красноярский край, Нижнеингашский район, провести летние каникулы.

И так случилось, что задержался надолго, застав и грибной сбор, и шишкование, и охоту.

Дядька мой Николай, кондовый таёжник, вечный труженик местного леспромхоза, поначалу отнекивался, не хотел с нами, пацанами, забираться вглубь. Вон, мол, хотите вдоль Решётки, речки не широкой и не опасной, да и хватит вам.

Но мы с братом не унимались, и дядька сдался-таки на нашу милость, согласившись взять нас шишковать.

Поутру на попутной леспромхозовской машине уехали мы в тайгу. Высадившись у узкой просеки, пробитой тяжёлыми лесовозами, вывозившими когда-то из этих мест заготовленный кедрач, мы углубились в тайгу. Шли торопясь, чтобы засветло добраться до места. Поклажа наша была не тяжела. Припасов взяли немного, основное собирались добыть на месте.

И действительно, побродив до захода солнца вдоль бережков крохотной безымянной речушки, мы подстрелили трех рябчиков, которых тут же ощипали и пустили в котёл над костром. Но самому мне в этот раз охотничье счастье не посветило.

Я пробирался сквозь завалы, углублялся в таёжные дебри, выходил к просеке — бесполезно. Дичи не было.

Когда же в отдалении раздалась выстрелы, терпению моему, выдержке пришел конец.

Самолюбие моё, мальчишечья гордость были задеты до основания. Я неведомым чутьём догадался, что выстрелы эти принадлежат брату — вечному моему оппоненту во всех спорах и конкуренту в любых начинаниях. А так как эта охота для него, как и для меня, была первой, легко представить, что творилось в моей душе.

Мне было всё равно, лишь бы только что-то полетело или побежало невдалеке, дав тем самым повод для выстрела.

Тут-то я и заметил на нижних ветках старого кедра, шатром раскинувшегося над поляной, среднего размера птичку серого, неброского оперения.

Затаив дыхание, подбирался я к намеченной жертве. Тяжесть ружья в руке возбуждала охотничий азарт, возможность утереть нос брату собственной добычей тешила гордыню.

И вот — выстрел.

Сорвавшаяся с ветки птица взмывает вверх, полукругом облетает поляну и вдруг камнем падает в траву. Через поляну, сквозь высокую траву, я бегу искать подстреленную птицу — первую мою добычу. Не сразу, но нахожу теплый, мягкий комочек, беру в руки, рассматриваю. И тут что-то меняется в моём настроении. Неуловимое смятение, сожаление, растерянность закрадываются в сердце.

Подсознательно я недоволен собой, своим поступком. Но ещё тещу самолюбием тем, что не промахнулся, попал с первого выстрела. А тельце, ещё совсем недавно бывшее живой птицей, греет ладонь, ласково щекочит оперением пальцы. Возвращаюсь к месту привала.

Уже разожжён костер, зачерпнута котелком вода из речки, дядей Николаем потрошатся рябчики, добытые им и моим братом.

Я показываю свой трофей. Храбрюсь для порядка, хотя и жду с замиранием сердца оценки моего промысла.

Николай с сожалением берёт из моих рук птицу. Упершись локтями о колени, перебирает пальцами пёрышки крыльев, топорщит пушок на грузке, трогает зоб, наполненный орешками.

— Кедровка... Видишь, сколько семян могла по тайге разнести. А ты её убил ради баловства.

И, подержав птицу ещё какое-то время у себя на ладони, молча протянул её мне. Я принял и, не зная, что с ней делать дальше, молча стоял, сгорая от стыда и желая одного — провалиться сквозь землю, чтобы не слышать этих безжалостных слов укора.

Так первая моя охотничья удача обернулась для меня и позором, и уроком одновременно.

Про подстреленную мной птицу, казалось, забыли. Брат подробно в деталях рассказывал, как добыл рябчика. Но, дав ему выговориться, Николай решил уточнить его рассказ некоторыми, видимо, «по рассеянности» опущенными деталями, из чего выходило, что добывал он беспомощного подранка, да и к тому же смог это сделать лишь со второго выстрела. Затем ходили заготавливать хворост на ночь, жгли костер — большой, жаркий. Пили чай. Затем угли прогоревшего костра смели в сторону, залили водой. А на месте кострища настелили еловых веток и, улегшись вповалку, закутались одеялами.

Все это для меня, городского мальчишки (уехал я из Сибири в пятилетнем возрасте), было непривычным и всеяло в душу чувство романтики, робинзонства.

Во все глаза смотрел я в бездну разверзшегося надо мной неба. Хмельно пахло травами, хвоей, разогретой еловой смолой.

Кричала невдалеке у речушки птица, мне неизвестная. Всё было ново, от всего, происходящего со мной тогда, тревожно и радостно веяло открытием. И только убитая кедровка тяготила совесть.

Конечно, не знал я тогда, что бесполезно убитая мною птица непроходящим укором останется во мне на многие годы. Сейчас уж, наверно, до окончания моего земного срока.

Наутро мы ушли бить шишки, шелушили их тёрками, сеяли. Орехи в небольших мешках затем волокли до дороги, утомившись и избив ноги сверх всякой меры. Но не этим, не физической усталостью запомнилась мне та первая в моей жизни охота.

Не этим...

Спустя двадцать лет довелось мне вновь побывать в тех краях. Было это в середине февраля 1989 года. Охотничья страсть захватила меня к тому времени уже с головой. Потому даже тот короткий срок (два дня), что выпал мне побывать на родине, я использовал, дабы выехать в тайгу поохотиться на зайцев.

Ранним утром всё по той же дороге, как и раньше, заваленной искорёженными, брошенными стволами по обочине, мимо нижнего склада местного полноправного хозяина — леспромхоза, выехали мы из поселка. Я смотрел по сторонам и не узнавал прежде хорошо знакомых мест.

Там, где раньше вдоль дороги стеной стоял непроходимый, вековой лес, сейчас взгляд ловил либо мелкий кустарник, либо молодую ещё берёзовую да осиновою поросль. Когда же машина выскакивала на пригорок, взгляду открывалось не «зеленое море тайги», а белые, в снегу, вершины голых сопок. Это было столь непривычно, столь несовместимо

с прежними воспоминаниями, что я поделился впечатлениями со своими спутниками.

— Да, вырубали тайгу... поизвели. За орехами сейчас далеко придется ездить. Помнишь, как дед Егор всегда говорил: «Тайга большая, до монгольской границы далеко». Так вот, оказалось, что не так-то уж и далеко. Поживи он немного подольше, мог бы и вот это всё застать.

Брат кивает головой в сторону пронесившегося за окном машины мелколесья. А я вспоминаю сухую невысокую фигурку деда, вечно одетую в солдатскую гимнастерку и галифе, подстриженного под «ноль», с торчащей на голове и щеках седой щетиной.

День назад я заходил на кладбище поклониться его, бабушкиной да дядибориной могилкам. И вот опять вроде бы как-то неподходяще, все вспомнили старика. Может, и хорошо, что он не представлял тайгу такой.

Заячьими следами были испещрены и припорошенная снежком боковая от трассы дорога, и снег по обочинам, и всё видимое лесное пространство.

Осмотревшись, нашли свежий след. Юркнул косой в осинник. Обошли вокруг. Больше свежих следов нет, не выходил зайчишка. Видно, наглодался вдоволь горьковатой коры и залег где-то под кустом, вслушиваясь в доносившийся с дороги шум да людской говор.

И действительно, спугнули мы его. Близко косой нас не подпустил, да и убегал как-то лениво, не торопясь, будто понимая, что без собаки мы ему, что дачники. Так оно, может, и было. Хоть и ружьё у меня в руке, а душа заполнена другим — созерцанием. Искрится снег, уходит склон, облитый солнцем, в глубокий распадок, на дне которого высется могучие ели. (Не тронула их леспромхозовская пила. Видно, не вывезти, хоть и повалили.) Доносится оттуда, эхом разливаясь в морозном воздухе, стук дятла. И вот тут-то неведомо какими путями (крепко подспудно хранила память прошлое) вспомнил я о загубленной в детстве птице. Вспомнил как урок. И не усталость, не мошкарку, не ночной холод — только тепло уже убитой мною кедровки, лежащей в сомкнутых пригоршней ладонях.

Это воспоминание сработало тогда и срабатывает ещё не раз в моей жизни, как предохранитель осторожности и ответственности в общении с природой.

Утром, подобрав на воде подстреленного ночью селезня, мы возвращаемся к острову. Пока плывём по карьере, тоненький ледок встречается лишь островками и разбивается лодкой легко, стеклянно потрескивая и хрустко шурша о металлические борта. Но когда углубляемся в лес, сквозь вмёрзший кустарник пробившись к каналу, служащему нам дорогой, лёд становится крепким, сопротивляющимся нашему легкому ботнику. Чтобы пробить в нем маленькое пространство для нашей лодочки, требуется немалое усилие.

После нас, как после ледокола, остается во льду изломанный след.

Яркое солнце, утреннее, весеннее, заливает застывший лес мягким светом, обещая теплую, тихую погоду. Настроение от этого у нас с Сашей приподнятое, даже радостное.

Мы впервые возвращаемся к становищу, разводим костер, вешаем котелок с чаем.

Скоро с добычей должны появиться Вадим с Юрой. С добычей — потому что слышали мы этой ночью громкие раскатистые оружейные выстрелы на втором карьере.

И действительно, по пробитой нами во льду дорожке подплывает к острову Вадим. К костру подходит, держа в руке еще одного селезня: изумрудно-зелёная голова и шея, грудь с багряным отливом, брюхо белое.

На удивление ладная, красивая птица. По сегодняшним временам неплохой охотничий трофей.

Устраиваемся вокруг огня, делимся впечатлениями, зачерпываем кружками кипяток из котелка.

Но вот появляется Юра с подстреленной... подсадной. Мы удивляемся, смеёмся. Юра, в свою очередь, объясняет, что в темноте не разобрал, кто подплыл к чучелам, и только утром увидел, что утка не дикая, а подсадная, сбжавшая от какого-то горе-охотника.

Вскоре «на чай» приходит и этот охотник. Обижается, что загубили его подсадку, сорвавшуюся с кольца.

Юра рассказывает обстоятельства дела, но так, что мы буквально валимся от хохота. Пришедший охотник (хорошо знакомый парень из соседней деревни), конечно же, смирился с утратой.

— Ладно, вы хоть утку отдайте.

— Откуда же я знаю. Может, это не твоя вовсе. — Юра с прищуром пьет чай, насмешливо поглядывает на явившегося.

— Как не моя?! Вчера я её высадил, всю ночь её видел. Только минут на пять заснул, она и сорвалась. Как только умудрилась?

— Вот мы сейчас на ботнике и сплаваем, посмотрим как.

Юра с соседом уходят к лодкам, захватив с собой ружья. Мы остаёмся в ожидании.

Возвращаются они скоро. Юра идет к костру, держа в руке шнурок с кольцом. На конце шнура что-то привязано.

Когда он подходит ближе, мы узнаем утиную лапу в оперении. Сосед идет чуть сзади и как-то неуверенно, виновато.

— Вот что осталось от его подсадной, — Юра бросает лапу к костру, — лиса сожрала. Ночью лёд стал, вот она и подкралась. — И уже смеясь, обернувшись к хозяину того, что раньше было уткой. — Как же надо спать, чтобы не слышать крика утки, у которой лиса обгрызает живьём лапу!

Сосед пожимает плечами, присаживается к нам, поближе к костру. Он низенький, толстенький, лицом добродушный, готовый и сам вволю посмеяться над собственной незадачей.

— Ведь и не спал совсем, как получилось?

Не в силах больше сдерживаться, мы смеёмся в открытую с соответствующими репликами.

Он не обижается, только с удивлением продолжает покачивать головой.

Ну вот, пора и домой.

Опять плывем по лесу, задумчиво стоящему в воде. На душе беспричинно радостно, покойно.

Вода отражает голубизну неба, белизну редких облаков, кроны деревьев и в то же время просвечивает, показывая корни и коричневую прошлогоднюю траву в своей глубине.

Природа застыла в ожидании.

Причаливаем к берегу, прощаемся с Юрой. Отталкиваем лодку, и после нескольких легких толчков веслом лодка исчезает, теряется в лесу. Затем еще раз мелькает, пересекая затопленную поляну.

Всё.

Теперь нам предстоит пробраться мимо усеянных чайками двух круглых болот. Поднявшийся шум и крик оглушают. Затем подняться на насыпь, по которой протянута почти недействующая узкоколейка, и уже по ней пешком добраться до железнодорожной станции «Киселиха».

Мы с Сашей стоим ещё какое-то время в молчании. Затем вскидываем за плечи — он рюкзак, я зачехлённое ружьё — и смотрим друг на друга, словно спрашивая, с нами ли это всё было — остров, костёр, шалаш? Или пригрезилось? Столь нереальным, далёким показалось всё с исчезновением лодки.

У РЕКИ ПОЖМЫ

Карьеры были во льду.

Мы опасались ещё до выезда из города на эту ставшую традиционной для нас весеннюю охоту, что подобное может случиться. Хотя где-то в глубине души все-таки верили в лучшее. Но, как оказалось, не судьба... И вот мы, пятеро мужчин, с уже расчехлёнными и собранными ружьями стоим в некотором замешательстве у кромки рыхлого, пористого льда, — которому и жить-то осталось от силы два-три дня, а там солнышко и ветерок сделают свое дело, разгонят и расплавят эту сереющую и кристаллически посверкивающую массу, освободят воду, — и не знаем, то ли возвращаться домой восвояси, несолонохлебавши, то ли все-таки поверить в удачу и заночевать здесь, в надежде на завтрашнее, может быть, более счастливое утро.

Карьеры с прошлой весны изменились до неузнаваемости. Оставшиеся на месте бывших когда-то торфоразработок, они со временем заполнились водой, заросли по берегам и бровкам хорошим крепким лесом. В самих карьерах удачливо ловилась рыба. Здесь находила приют перелётная птица, выводила свое потомство дикая утка. И Господь будто хранил эти места обетованные для всякой дичи и живности. Долгие годы обходили их стороной лесные пожары. Еще не набравший полной силы лес не рубили заготовители.

Но прошлым летом беда пришла и в эти заповедные места. Торф загорелся. Весь лес по берегам с материковой стороны оказался порушенным, обожжённым, образовав из хаотически попадавших деревьев непроходимые завалы. Чтобы победить пожар, специалисты МЧС перегородили русло речки и пустили ее по новому направлению, тем самым значительно подняв уровень воды в карьерах. Вода затушила пожар, но теперь обезображенные стволы, торчащие из-под льда, отделяли берег от чистой воды. Это расстояние также нужно будет как-то преодолевать. К тому же не пешком, а на лодке — лёгком и маленьком, рассчитанном максимум на двух человек, ботнике. Но для преодоления этого препятствия время пока еще не пришло, и мы прядем привезённую лодчонку («наш легкий чёлн») в прибрежных кустах.

Повздыхав и посетовав на погоду, походив вдоль обезображенных берегов огромного водного пространства (вся площадь карьеров оказалась под водой, образовав единый водоём), мы наконец принимаем решение ехать на лесную речку Пожму.

По раскисшей проселочной дороге, через поля и овраги, застревая в спрятанных под прошлогодней травой лужах и яминах, натолкавшись вдоволь не справлявшуюся с дорогой машину плечами и спинами, мы наконец останавливаемся на опушке леса. Справа от нас уходило вдаль бывшее когда-то колхозным поле. Теперь оно зарастало почувствовавшим волю мелким березняком и от того его заброшенность виделась ещё более трагичной — будто вовсе и не земля была брошена и загублена, а чья-то долгая человеческая жизнь.

Невесело достаём из машины рюкзаки, ружья. Дальше по лесной дороге придется идти пешком. О том, чтобы по ней проехать на машине до речки, даже и думать нечего.

В лесу еще лежит снег. Лужи в колеях старой дороги покрыты льдом. Хотя и тут время берёт своё. Потерявший былую зимнюю крепость лёд под ногой проваливается и ребристо топорщится рыхлыми, изъеденными оттепелью краями, с неприятным свистом чиркает по высоким голенищам резиновых сапог. Нам придется с опаской обходить по краю эти лужи, чтобы случайно не повредить обувь. Да и ледяная вода моментально захладила ноги. Пройдя совсем немного, быстро свыкаемся с трудностями дороги — вовремя уклоняемся от встречных веток, не скользим на обледенелых, спрятанных под снегом рытвинах и колдобии-

нах, не спотыкаемся о поваленные и сгнившие стволы небольших сосен. В движениях появляется уверенность, и мы начинаем больше оглядываться по сторонам, восхищаясь увиденным. И действительно, только еще освобождающийся от снега лес уже таит в себе пробуждение будущей жизни. Это удивительное, не столько зримо увиденное, сколько уловленное какими-то особенными сторонами души чувство явно присутствовало, было разлито в окружающем воздухе, в еле уловимом запахе, в движении вершин начавших пробуждаться после зимы деревьев. Идём всё-таки осторожничая — друг за другом. Разговариваем негромко. Каждый замечает что-то своё, его удивившее, и указывает на это ближнему, тот другому, и так по цепочке.

Дорога оказалась неблизкой. Пока добрались до реки — подустали и первым делом решили подкрепиться.

Тропинка наша упёрлась в разлив, исчезла под тёмной торфяной водой. Дальше идти всё равно было некуда. Время до сумерек еще оставалось, поэтому мы и расположились не спеша на стволе поваленной берёзы у самой воды, предварительно освободив из садков посадных уток.

Утки, обретя свободу, радостно и призывно закрякали, заныряли в свободной воде, защёлкали клювами в прибрежной траве, что-то там выискивая и поедая. Их кряканье, хлопанье крыльев непривычно громко раздавалось в сереющем по-вечернему, притихающем лесу. От этого чувство оторванности, будто обречённости, невольно закрадывалось в сердце. Казалось, что ты один где-то далеко-далеко. Вокруг все чужое, неузнаваемое. А ты такой одинокий, маленький и только ощущаешь окружающую тебя со всех сторон мощь, силу неведомую и непонятную, но явно существующую, живущую, дышащую вокруг. От этого неспокойно, взволнованно становится на сердце. И это чувство, поселившись где-то глубоко внутри, уже не оставляет, не забывается, беспокойно теплится в груди. И когда мы наконец, рассадив уток на воде, разошлись по своим местам, прячась за деревьями, это чувство вдруг пробилось в сознание ярким и определившимся образом одиночества.

Я будто бы увидел с высоты птичьего полёта себя — такого маленького, притулившегося в ожидании неведомого к стволу дерева. А это неведомое может произойти, случиться в любую секунду и быть совершенно не таким, как предполагается гордому человеческому разуму.

Что мы есть на этой земле? Что в силах наших и что зависит от нас? И почему так трепещет в груди взволнованное, будто даже обречённое сердце? Что коснулось его, что всело смятение и неуверенность?

Я вышел из укрытия, запрокинув голову, посмотрел в высокое небо. Надо мной раскачивались огромные, уходящие далеко ввысь кроны деревьев. Там, наверху, был ветер, а тут, у земли, мы его не чувствовали и не слышали. А деревья раскачивались в вышине беззвучно, как в немом кино, и от этого собственная малость, уязвимость ощущалась мною ещё более и отчётливее.

Пройдя немного вдоль реки, где-то в лесу вышедшей из берегов и затопившей округу, я поднялся на небольшой пригорок, от которого начиналась неровная, клочковато поросшая невысоким кустарником поляна. Кустарник был гол, и взгляд на нём почти не задерживался. А вот стоявшая по другую сторону поляны сосна невольно притягивала его к себе. Ствол дерева внизу был велик в ширину, чёрен. Он словно подтягивал на себя землю, укрытую коричневатой прошлогодней травой и хвоей. Земля напозала на ствол, неровно проваливаясь меж мощных, исполинских корней.

Но чем выше поднимал я взгляд по стволу, тем всё больше изумлялся происходившей перемене. Сосна светлела. Чернота оставалась там, внизу. А ввысь устремлялся цвет жизни, цвет Бога — золотой. И золото это, поднимаясь к небу, становилось чистым, светящимся. Уже давно невидимое с земли солнце густым медным светом обливало вершину сосны

и оттого кора, покрывающая ствол, мягко и густо сияла, словно отдавая округе накопленное за век тепло.

Я не ушёл с пригорка до тех пор, пока солнце не покинуло сосну. Пока ствол её, отдав золото свечения, не изменил свой цвет на жёлтый — обыкновенно бледный, земной.

Только тогда, вроде бы даже от чего-то и утомившись, я сошел с пригорка, углубился в лес и присел на торчащий из снега сломанный ствол дерева. Медленно и плотно лес заполняли сумерки. Постепенно и неотвратно одиночество и покинутость сдавливали моё сердце в недобром предчувствии. И это предчувствие меня самого делало другим — ещё мельче и жалостливее. Оно, предчувствие, не давало спокойствия, куда-то гнало, торопило, хотя самому мне не хотелось сходить с места, двигаться. Наоборот, хотелось успокоиться, забыться, может быть, даже заснуть...

Подсадные утки раздражающе громко кричали, словно их напугали чем-то неотвратно наступающим. Не было в их криканье призыва — был страх. Так мне казалось.

И тут нахлынула мне в сердце волна воспоминаний давно минувшего. Почему всё это вернулось именно сейчас? Какими путями давнее ожило, заволновало? Нет на это у меня ответа. Но только в миг, словно в забытьи, вдруг вижу себя со стороны и совсем маленьким. Вижу огромные, в стволе невероятной толщины тополя, росшие когда-то невдалеке от берега озера Цыганка — райского озера моего детства. Голые их ветки черны в надвигающихся скорых зимних сумерках. Черны и фигуры людей с охотничьими ружьями, что стоят у этих тополей, прячась за огромные столбы от пронизывающего ледяного ветра. Они закуривают, поднимают высокие воротники полушубков, и тихо по-недоброму разговаривают. Я их не слышу, но понимаю, что они решают мою судьбу.

* * *

Поверхность озера, занесённая снегом, гладка и пустынна. Почти каждый вечер этой зимой я, ещё совсем маленький мальчик, вдруг страстно увлечённый катанием на лыжах, прихожу сюда и бегаю вдоль берега по проторённой лыжне. В выходные дни на озере собирается много народа — катаются с горок, прыгают с самодельных трамплинов. В будни же, особенно поздним вечером, здесь никого нет. Тихо, безлюдно. Единственный жилой дом, бывший когда-то церковным, а теперь превращённый в жилой барак, слегка светится дальними окнами. Находящаяся же за железнодорожной насыпью школа от озера и вовсе не видна. С других трёх сторон Цыганку окружали заснеженные сейчас болота, заросшие кустарником овражки и пустыри да грязные контуры асфальтового завода.

Я нёсся, как мог, на своих убогих лыжах (креплением у которых служили полоски из сыромятной кожи — они удерживали мои валенки на скользкой деревянной поверхности, хоть под подошвы и набилось достаточно снега) по разбитой взрослыми лыжне, когда вдруг увидел этих двоих, вышедших из-под деревянного железнодорожного моста. Я пробежал мимо, не испугавшись, кажется, даже не обратив особого внимания, и пустился дальше вокруг озера. Я ещё мог, когда круг закончился, остановиться, у церковного дома подняться на железнодорожную насыпь и мимо опустошённого храма, вдоль сараев и гаражей, уйти домой — в наш квартал, состоящий из четырёх пятиэтажных домов. Всё это я мог, но не сделал. Почему-то в душе моей в те годы не было страха. И я не боялся ни темноты, ни одиночества, ни пустынности занесённых снегом берегов озера.

Когда я вновь приблизился к тополям, меня от них окликнули:

— Эй, пацан, подойди-ка сюда.

Сойдя с лыжни, я по рыхлому снегу двинулся к берегу. Тогда и увидел ружья у них за плечами (этим меня не удивишь — на Ярмарке подобное

добро у многих водилось) и то, что, закуривая, они прячут лица от ветра в воротники полушубков.

— Говорю тебе, вдруг повредим мальчика, — негромко проговорил тот, что держал в своих ладонях, сложенных лодочкой, зажжённую спичку. — Потом отвечай.

— Да ни хрена ему не будет, — огрызнулся прикуривавший. И уже, обернувшись ко мне, спросил: — Жить хочешь?

Я молчал ошарашенно, не понимая, в шутку или серьёзно меня спросили.

— Ну что, значит, хочешь... Тогда беги. — И потянул с плеча за ремень ружья. — Нам патроны проверить надо, давай-давай, шустрее, не стой, не в упор же в тебя стрелять.

Ужас заполнил моё сознание, затмил разум, парализовал ноги. Я заплакал. Сразу — громко и горько. Нет, не от страха — от обиды, от ощущения какой-то высшей несправедливости, неправоты того, что со мной происходит. Конечно, и страх не оставил меня, но это внезапно возникшее чувство было весомее, больнее.

Уже сняв ружье с плеча, мужик одной рукой дотянулся до моего плеча, слегка потряс и подтолкнул.

— Чё ты сопли распустил. Беги давай.

Я с надеждой посмотрел на второго. Тот хоть и не снял с плеча ружье, но продолжал молчать и за меня не заступался.

Не переставая реветь, я неуклюже развернулся на лыжах, загребая нетронутый, рыхлый снег, и поплёлся назад к лыжне, спиной чувствуя взгляды тех, кто остался стоять у старых тополей. Выбравшись на лыжню, я почему-то побежал не в сторону церковного дома (а, значит, ближе и к своему дому), а к забору асфальтового завода, к противоположному берегу озера. Теперь я понимаю, что тогда это было спасение. Тень от высокого забора в какой-то мере спрятала меня от стрелков. В противном случае на снегу в лунном свете я был бы у них как на ладони. Потому, услышав грохнувшие за спиной два выстрела, я внутренне приготовился к ощущению боли, но не почувствовал её. Только от страха заплакал ещё громче, продолжая как можно быстрее скользить на своих убогих лыжах по укатанному снегу. За спиной ещё дважды прогрохотало. Потом ещё раз, и всё смолкло. Тишина опустила на землю, и только снег вдоль лыжни визжал от втыкаемых в него металлических наконечников лыжных палок. Лишь моё частое дыхание, запалённое, горячее, тревожило густой воздух, пронизанный холодом приближающейся ночи.

Обогнув озеро, я не пошёл к церковному дому, а, пробравшись сквозь кустарник, вышел к другому деревянному мосту, ближнему к железнодорожным путям, ведущим на Московский вокзал, и, пройдя под ним, крадучись, проскользил мимо гаражей Горгаза к своему кварталу.

Родителям о случившемся я тогда ничего не сказал. Правда, мама обратила внимание, что я немного не в себе, но всё это было отнесено на усталость и на то, что я сверх положенного прогулял на улице вместо того, чтобы лишний раз повторить домашнее задание к завтрашним урокам. И только когда она утыкивала в батарею мои промокшие валенки для просушки, то наклонилась и подняла с пола что-то мелкое, тёмное, выкатившееся из недр чёрного войлока. Положив находку на ладонь, она протянула ко мне руку.

— Что это такое?

На её ладони лежала с одной стороны до черноты обожжённая деформированная, а с другой — мышино-серая и округлая свинцовая дробинка.

Я пожал плечами.

Ах, сколько же времени прошло с того вечера! Уже нет ни озера Цыганка, ни мостов, ни железнодорожной насыпи. Озеро и каналы, когда-то служившие водными путями для подвоза товаров на Нижегородскую ярмарку, на моих глазах замыли песком из Оки. Теперь это место намного выше бывшей насыпи. Здесь построили дома, бензозаправки, ма-

газин. Собор вновь открыли. Сарай снесли, сады вырубил и сравнял с землёй. Церковный дом вновь стал домом причта. Мосты разобрали. Всё с тех времён изменилось до полной неузнаваемости, да такой, что и взгляду не за что уцепиться, чтобы напомнить о былом.

Но я-то ту встречу на пустынном озере помню. Мне какая-то сила не даёт похоронить её в себе под ворохом более поздних впечатлений (а они были пострашнее тех детских, пережитых мною на заснеженном озере), как сделала это наша общая история, спрятав былое под неисчислимыми тоннами речного песка.

Значит, жизнь человеческая свершается по каким-то особым законам? У неё свои сроки, свой календарь, своя ответственность и своя память, которую невозможно ни изменить, ни вытравить. Для чего-то всё это в нас живёт, заставляет страдать, продолжает требовать некоего ответа, преследуя воскрешающими вновь и вновь картинками и переживаниями.

* * *

В сумеречном лесу над разлившейся и безмолвной рекой прогремел выстрел. Громко запричитали испуганные утки. Почти тут же послышался голос Вадима.

— Ну, вы где там, пора собираться. Здесь утка не летит. Одна просвистела высоко. Пальнул для остротки, да, конечно, не достал.

Опять все собираемся у реки. Сажаем в садки подсадных уток, увязываем рюкзаки и в обратный путь. По лесу движемся уже в темноте, хорошо — небо чистое, безоблачное, и лунный свет отражается в островках сохранившегося снега.

К машине выходим в полной темноте. Сапоги выпачканы до колен дорожной грязью. Но делать нечего — как есть, лезем в салон, трогаемся с места. Проезжаем немного вперёд и застреваем в первой же колее. Я остаюсь за рулём, остальные мои спутники с упорством толкают машину сзади. Так добираемся до оврага, в глубине которого течёт ручей. Через ручей в виде моста брошено несколько брёвен. Я с отчаянием и злостью жму на педаль газа. Слышу сзади предостерегающие крики, впереди в свете фар приближается узенький мосток. Нет никакой уверенности, что его ширины хватит, но и тормозить слишком поздно — под колёсами непролазная грязь.

Все происходит в мгновение. Колёса подсакивают на неровных брёвнах, идут юзом в сторону, но машина уже выскакивает на противоположный склон. Рев двигателя терзает ночную тишину подступившего к дороге леса. И всё-таки машина с натугой буквально вылезает из оврага. Только тут, у самой кромки, вновь застревает, но это уже не страшно. Ко мне подходят мои спутники. Один из них почти шепчет, обращаясь ко мне:

— Ты сейчас проехал половиной колеса над ручьём по самому краю моста. Это чудо, что не перевернулся.

Я зол, возбуждён от недавно выпитой водки. Хочется кричать, что в такие места надо было идти пешком или не ходить вовсе, только никак не ехать на «жигулях», но сдерживаюсь и молчу. Все и так видят, что я на нервах.

До избушки у карьера добираемся глубокой ночью. Хозяин, как всегда, пьян. Громко орёт радио.

Опять выпиваем водки, ужинаем и укладываемся на ночлег. В камерке тесно и смрадно, но выбора нет. На улице в эту пору ночевать невозможно — холод жуткий, а близость льда в карьерах действует на округу как огромный природный холодильник.

Хозяин засыпает первым, храпит. Кто-то из наших осторожно встаёт и выключает орущее рекламой и попсовой музыкой радио. Хозяин немедленно просыпается и восстанавливает порядок в доме. Радио опять истошно орёт. Пытка продолжается. Я одеваюсь потеплее, выхожу

на улицу и забираюсь в машину. В ней пока тепло. Опускаю спинку сиденья, укутываюсь в куртку, устраиваюсь поудобнее и закрываю глаза.

Почему же именно этот случай, когда в меня, как в живую мишень, стреляли два выродка, вспомнился сегодня у реки? Почему именно он и именно сейчас всплыл из глубин памяти? И почему я против всякой логики побежал в противоположную сторону от дома? Ведь это я сейчас понимаю, что у забора меня скрыла тень, а тогда об этом я и думать не мог. Да и времени для размышлений не было.

Наконец, вообще, почему это всё со мной произошло?

* * *

Микрорайон «Ярмарка» состоит из нескольких пятиэтажных домов красного кирпича, возведённых в начале шестидесятих годов. До этой поры, ещё с самых древних времён, стояли здесь старинные лабазы, бараки, сараи, образующие примыкающую к Нижегородской ярмарке жилую зону. Понятно, что заселяли её не выходцы из благородных семей, а люди совсем иного отношения к жизни — более бесшабашного и сурового. В большинстве своём это были в первом или во втором поколении выходцы из сёл и деревень, которые, покинув родные места, и от крестьянства отбились, и городскими людьми не стали.

Когда наша семья поселилась в одном из таких только что построенных пятиэтажных домов у Спасского Староярмарочного собора, большие кварталы двухэтажных бараков, сложенных из старого, обожжённого до свекольной бурости кирпича, ещё стояли нетронутыми, и в них ютилось, как мне тогда казалось, несметное количество народа. Практически каждый из этих бараков по количеству населения представлял из себя крепкое русское село. Но население это к середине двадцатого века оказалось значительно «подпорченным», поражённым всевозможными нравственными и физическими пороками. И если отцы и матери моих сверстников, да и поколения несколькими годами постарше ещё работали грузчиками, уборщицами, плотниками, укладывали вручную асфальт на дорогах и мели метлами тротуары, то дети их, в большинстве своём по лени и слабым умственным способностям не сумевшие окончить даже четырёх классов, работать «на стройках коммунизма» не хотели, и по достижении совершеннолетия, как по установленной кем-то традиции, совершали какое-либо преступление (чаще всего кражу или разбой) и отправлялись в тюрьму.

Образование в этой среде не то чтобы не поощрялось — к нему были абсолютно равнодушны, как к чему-то неведомому и непонятному. Потому процесс ухода детей в воровство и прочие правонарушения воспринимался как что-то вполне естественное с пониманием и даже сочувствием. Это была своя, закрытая некими неофициальными общественными рамками среда. Она не культивировалась специально, она росла и существовала сама по себе, потому что другого выхода у этих людей просто не было. Поэтому, в свою очередь, и от них не шло какой-то особой агрессии. Всё происходило в рамках естественного и понятного, привычного, когда-то давно и неведомо кем раз и навсегда заведённого. И от того что эти люди затем переселились в более современные дома, мало что изменилось в их жизни, в их взаимоотношениях с окружающими. В этой среде господствовала непонятная постороннему взгляду самодостаточность, определяющая их жизненный уклад с рождения до самой старости.

Единственное, что потревожило, но не изменило ход их жизни, — была война.

Чужаков в этой среде, впрочем, как и в любой другой — интеллигентной, научной, театральной, технической, да хоть и рабочей, — недолюбливали. Но если ты жил вместе с ними в одном доме, в одном квартале, хоть и работал где-то «в верхих», то всё равно принимался за своего и не отторгался. Поэтому за всё время своего детства я не припомню ни

жестоких драк в нашем квартале, ни убийств, ни огульного пьянства, что сейчас, к глубокому моему сожалению, уже становится нормой.

Нет, я не вспоминаю то время с раздражением или осуждением. Более того, я признаю, что люблю его. Главное его достоинство по сравнению с теперешним — оно не было таким жестоким, агрессивным, хотя и идеальным в этом смысле тоже не назовёшь. Да, жили бедно (оттого, наверно, и пили несоизмеримо меньше), двери в квартиру, если хозяева или их дети были дома, днём на ключ не закрывали. Взрослые парни и мы, мелюзга, вместе любили играть в лапту или «гонять» чижику. Как-то незаметно эти парни в большинстве своём затем, как я уже сказал, попадали в тюрьмы, едва успевая за всё время учёбы закончить четыре — шесть классов в школе, при этом в каждом оставаясь, да ещё не по одному разу, на второй год. Но почему-то всё это нас до поры до времени не касалось. Это потом некоторые из моих сверстников «продолжили дело» своих старших братьев. А тогда мы были вместе, и старшие нас не то чтобы оберегали, но как-то естественно не допускали «переступить черту».

О тюремной зоне в годы моего детства мне приходилось слышать много романтического и даже увлекательного. О жизни за колючей проволокой рассказывали нам обычно вернувшиеся из заключения старшие братья моих друзей по уличной жизни. Забегая вперёд, скажу, что по мере взросления и мои друзья один за другим получили вынесенные им судами сроки. Затем всё повторилось с более молодым поколением — их младшими братьями. Так что закон «ярмарочного» бытия продолжал действовать неукоснительно.

Меня судьба щадила и оберегала. Хотя, казалось, только по чистой случайности, по неведомому мне стечению удивительных обстоятельств я не оказывался с нашей уличной ватагой там, где затем по непониманию или из жадности приключений совершалось преступление — подламывалась будка сторожа, разбивалось стекло, начиналась драка...

И всё-таки сейчас, лёжа в остывающей машине посреди заброшенной, почти полностью покинутой людьми деревушки, я больше думаю именно о физическом охранении меня моей судьбой. Я думал о спасённой моей жизни, которая в детские годы, и сейчас я это отчётливо понимаю, десятки раз буквально висела на волоске.

Что за тайна скрыта в этом чуде? Для чего я был спасён в случаях, кажущихся на первый взгляд совершенно безнадежными?

Вот два примера из самого раннего детства.

Одним из самых излюбленных мест для наших мальчишеских игр тогда были общественные деревянные двухэтажные сараи. Располагались они на пустыре у озера, которое пересекала насыпь улицы Должанской. Во что мы могли играть на этой территории? Да, конечно, в войну, стреляя друг в друга из поджигов, рогаток, самодельных ружей с натягивающейся туго резинкой, стреляющих пульками, согнутыми из алюминиевой проволоки. Конечно, подобные игры были не такими уж и безобидными. Иногда они приводили к вполне ощутимым физическим страданиям и даже увечьям. Всё это происходило не по злобе, а из-за неосторожности, по недопониманию опасности или по недоразумению. Но уж совсем непонятное приключение однажды произошло со мной. Тогда мы отчаянно сражались на деревянных шпагах, изображая из себя мушкетёров. Знаменитый французский фильм только что с аншлагом прошёл в наших кинотеатрах и нам, уличным канавинским, ярмарочным мальчишкам, просто вскружил головы. Днями напролёт мы изготавливали каждый для себя шпаги, мушкететы, придумывали друг другу заковыристые, на французский манер, имена и прозвища. Затем разбивались на команды и отчаянно, не жалея друг друга, махали и тыкали друг в друга заострёнными палками-шпагами. Во время одного такого боя в «пыду схватки» я не заметил, как оступился и неизбежно должен был рухнуть вниз головой со второго этажа сарая. Но произошло чудо. Шнурок моего кеда зацепился

за торчащий из доски гвоздь, и на этой ненадёжной страховке я повис вниз головой. Благо рядом были мои враги по игре, но друзья по двору — спасли, вытянув обратно на выступ. Но потрясение оказалось для всех столь сильным, что игру на тот день единодушно решили прекратить.

Или вот другой «смертельный» случай, при воспоминании о котором и сейчас мурашки бегут по моему телу. Произошло это опять же в раннем моём детстве, но уже суровой зимой.

Морозы тогда стояли жестокие, но и они не могли удержать меня дома во время долгожданных новогодних каникул. Тайком от родителей я оделся потеплее, в толстый свитер и довольно уже ношенную кроличью шубку, взял в охапку лыжи и убежал на улицу. Покатавшись немного с горы на берегу Цыганки, я перешёл на лыжах озеро, пробрался через прибрежный кустарник, возле которого довольно намело рыхлых сугробов, и вдоль высокого забора асфальтового завода ушёл на просторы уже огромного, раскинувшегося почти от самого волжского берега (от Сибирских пристаней) до транссибирской железнодорожной насыпи Мещерского озера.

Искрился под солнцем снег. Огромное белое безмолвное пространство встретило меня недружелюбно, настороженно. Даже птиц не было видно. Всё живое куда-то попряталось от жгучего, недоброго, губительного холода. Обжигающий лицо ветер гонял по ровному бескрайнему снежному полю струйки кругчатого шуршащего снега.

Совсем немного прошёл я по этому тоскливому снежному безлюдью и остановился. Огляделся вокруг и не увидел ни одного лыжного следа. Всё замело снежной порошей. И только в одном месте снег мне показался будто бы утоптаным. Он слюдяно поблёскивал, отражая неяркий свет туманящегося от мороза солнца. Рядом с этим местом и лёд почему-то оказался ещё не заметённым, оголённым. Вроде бы и следы валенок вокруг были наморожены. Давние они или свежие — не разобрать. Схватило их накрепко морозом, так что и струящаяся позёмка не заравнивала, а обтекала.

Я решил подойти к этому месту. Что за любопытство потянуло меня к нему — сейчас этого объяснить уже невозможно. Только я зачем-то снял лыжи и попробовал крепость льда ногой. Он оказался, как я и думал, крепким. Всё-таки с опаской я решил обойти это место по наметённому сбоку сугробу и в тот же миг почувствовал, что плавно погружаюсь куда-то вниз, в водяную бездну. Под снегом оказалась спрятанная рыбаками от мороза прорубь. Я знал с малолетства, что такие окна во льду делались специально. Сверху их застилали ивовыми прутьями и заваливали снегом. В таком укрытии вода в проруби даже в сильные морозы довольно долго не замерзала, зато к этому месту подходила рыба.

Одежда моя довольно быстро намокла. И хотя я держался раскинутыми руками на снегу, но сил вытащить самого себя из воды, вернее, из густой снежно-водяной каши, у меня никак не доставало. Я боролся, пытался упираться ручонками в снег, но он под моими ладошками только проваливался вниз, в воду.

Ещё не почувствовав телом ледяного обжигания водой, я тем не менее, может быть, впервые так ясно ощутил неизбежное — конечность человеческой жизни. Помощи ждать было неоткуда (нет близости людей, нет родных), и я по-настоящему, панически испугался. Конечно, в тот момент я не думал о смерти — я не знал, не представлял, что это такое. Но ужас вполз мне в сердце, вгнездился в нём, и это было куда страшнее, чем водяная бездна подо мной. Ощущение покинутости — вот самое жуткое и ни с чем не сравнимое в жизни человека чувство. Оно завладело детским сердечком. Хотя, видимо, ненадолго. В какой-то миг что-то переменялось во мне самом, откуда-то взялись силы, и я выполз из ледяной ловушки.

До дома было довольно далеко. Я понимал, что бежать обратно следует как можно быстрее. Одежда моя моментально превратилась в ледя-

ной панцирь. Ноги в сырых зазеленелых валеночках и руки в ледышках, которые прежде были варежками, невыносимо болели от ломающего их холода.

Пробираться назад можно было только на лыжах. Снег глубокий, и по замёрзшим болотинам между двух озёр пробиться пешком я бы никак не смог.

Обледенелые валенки на детских лыжах держались с трудом, ежеминутно соскальзывали, и я вновь и вновь проваливался чуть не по пояс в снег. От боли и отчаяния я плакал, но упрямо всё ближе и ближе пробирался к дому. Мысленно я разбил дорогу на участки, и маленькие победы, когда я преодолевал один из них, придавали мне силы. Вот позади гладь озера, вот пробрался через лесок, вот миновал забор асфальтового завода, вот кустарник у озера Цыганка...

Когда замёрзший, обледенелый, с намороженными на ресницах слезами я припёрлся домой, моя мама, увидев меня, так перепугалась, что чуть не лишилась чувств. Затем, раздевая, стаскивая с ног окаменевшие валеночки и штанишки, всё плакала и приговаривала — запомни, так никогда нельзя делать. Потому что если ты умрёшь, то умру и я... Тогда она лучше осознавала, насколько близок я был к гибели. Но вот спасся, выжил и, кажется, даже не заболел. Хотя последнее утверждать наверняка не могу. Детская память слишком разборчива, выборочна, и такие пустяки, как простуда, она могла просто в себе не сохранить.

Сейчас, вспомнив об этих двух приключениях, я невольно потянул из памяти кажущуюся нескончаемой нить воспоминаний о подобных событиях и фактах. Господи, сколько же их было! Оказывается, что ещё в самом раннем детстве я столько раз мог лишиться жизни ввиду разных «случайностей», со мной происходивших. Однако этого не произошло. Почему? Я мог несколько раз почти наверняка утонуть, умереть от заражения крови, погибнуть от несчастного случая — но ничего этого не случилось. Можно ли подобное состояние моей жизни объяснить банальной случайностью? Вряд ли. Тут явно видна борьба двух сил, взаимодействующих начал. И далеко не все жизни в этой борьбе остаются сохранёнными. У меня и на этот счёт примеров тоже предостаточно. Значит, вопрос стоит только в том: какое моё в этой борьбе значение и участие, для чего была сохранена мне жизнь?

И тут, как-то даже и не к месту, вспомнился мне ещё один, на этот раз, должно быть, мало примечательный случай из моего детства. Но ведь запомнился, как бы мало примечательным он ни был. Сейчас же и в памяти всплыл — значит, неспроста. Во всяком случае, я уж привык прислушиваться к себе, к тем импульсам, что посылает мне в эту ночь моя память.

Вспомнился мне вдруг один человек, которого сейчас уже наверняка нет в живых. Был он в нашем дворе вообще-то мало чем примечателен — совсем невысокого роста, хром и очень, как мне тогда казалось, стар. Чаще всего я его видел, когда он сидел на старой, много раз изломанной и кое-как после этого отремонтированной, отчего имела она вид убогий и допотопный, лавочке у подъезда своего дома и люто не любил нас, детей из окрестных домов. Откуда взялась эта нелюбовь, сейчас определить не представляется никакой возможности. Видимо, сказывалась здесь некая традиция. Когда-то либо он обидел кого-то из малышей, а те в отместку начали обзывать его хромым, либо, напротив, ребятня по своему детскому жестокосердию прицепилась к нему с этим прозвищем — теперь этого не разрешить. Но факт есть факт — увидев старика, мы обходили стороной лавку и в подъезд не шли, если нам туда даже и надо было. А если всё-таки решались и слышали от него брань, то непременно начинали в ответ дразнить его за хромоту, да и вообще огрызались, как только могли. Здесь к месту будет отметить и ещё одну отличительную черту ушедшего времени — мата в отношении детей тог-

да почти не допускали. История с хромым тут не была исключением. С клюкой за нами бегал, уши надрать обещал, родителям сообщить грозился. Но всё выражение тех отрицательных по отношению к нам эмоций обходилось без «гнилых» и неудобоваримых слов.

В то же время была на советском телевидении одна популярнейшая передача, посвящённая воинам Великой Отечественной войны — павшим и живым, которую вёл писатель Сергей Сергеевич Смирнов. К сожалению, Хрущёвым в пятидесятых годах многое было сделано для понижения нашей Победы. А уж много ли нужно было поднадавить на наш народ, неизбалованный вниманием со стороны властей, чтобы он понял — нескромно это ходить по улице с орденами и медалями на груди. И оправдание такой позиции быстро придумали. Если надеваешь награды, значит, выпячиваешься, героя из себя строишь. А мы, те, у кого наград нет, что же, хуже тебя, что ли? И перестали наши бывалые воины носить свои в боях и лишениях добытые ордена и медали. Отдали нам, ребятам, для игр и забав. Сколько этих красивых кругляшек ходило по нашим рукам — теперь и не перечесть. Но вот в одной из передач в канун Дня Победы Сергей Сергеевич призвал воинов надеть заслуженные награды и не слушать всяких болтунов. Это выступление писателя произвело большой эффект. Тогда телевидение смотрели все. Да и канал-то был всего один.

Рано утром в канун праздника я вышел на улицу. В праздники мне всегда не терпелось на волю. Там происходило всё самое главное. На лавке у подъезда в привычной своей позе, привалившись боком к поперечной перекладине, сидел наш хромой. Правда, одет он был необычно, парадно, в коричневый пиджак. И вся грудь его была увешана наградами — боевыми орденами и медалями. Я опешил, остановился, уважительно-заискивающе поздоровался, но хромой не поверил в мою искренность. А может, не смог простить прошлые обиды. Он что-то буркнул не очень приветливое, недобро посмотрел на меня, наверное, ожидая какого-то подвоха (ещё и стесняясь наверняка собственных наград), и ушёл в сторону улицы Мануфактурной.

В тот же день я рассказал об увиденном своим друзьям по двору, и мы решили больше никогда этого человека не обижать. Теперь уж точно не помню, но кажется, что своё слово сдержали.



Я и сам не заметил, как заснул. Воспоминания детства, казалось, непроницаемым облаком окутали меня, роясь то ли в моём сознании, то ли вовне, вокруг меня. Но вся эта череда происшествий, событий, поступков тревожила в моей душе чувства совершенно особенные и ранее мною не переживаемые.

Разбудил меня ранний стук в боковое стекло машины моего товарища. Был он уже в полной экипировке — ружьё за плёчом, патронташ на поясе, охотничья фуражка щегольски надвинута козырьком на самые брови.

— Ну что, выспался?

Разминая затёкшую спину, я с трудом, неловко вылез из машины.

— Однако, морозно сегодня.

— Так ведь не лето. Смотри, как стекло в машине запотело. Чего не грел? Погонял бы двигатель.

— Грел... Потом заснул. Мучился от холода, да думал, что это во сне. Детство своё перед этим вспоминал, как зимой чуть не утонул... А где остальные? Ещё не встали?

— Спят.

Я сходил в дом. В тёмных сенях нашёл своё висевшее на гвозде ружьё. Сквозь бревенчатую стену было слышно, как в комнате орёт голосом очередной «звезды» невыключенное радио.

— Вы что, так и спали под эту какофонию? — спросил я товарища, вернувшись к машине.

— Если бы спали. Голова и сейчас трещит. Как он может жить с вечно работающим репродуктором?

— Думаю — так спасается от одиночества и ночных страхов. Сам-то представь, каково всю зиму одному сивуху пить. Вокруг снег да дикие собаки. Здесь всякая нечисть над тобою вволю поизмывается, напугит-ся, попугает.

Не сговариваясь, мы направились к ближайшему карьеру, берег которого едва виднелся сквозь оголённые ветки жиденького леска, отделявшего его от огородных хусадов, жирно чернеющих после стаявшего снега. Покуда солнце ещё не поднялось высоко, мы хотели обойти его вокруг, обследовать берега и, если найдётся подходящее место, постоять на ранней утренней тяге.

Сам карьер был всё так же затянут льдом, но по окраинам уже виднелась свободная вода. Садиться в эти небольшие полыньи утка, конечно, не будет, но чем-то привлечь птицу они могли, и потому мы устроились неподалёку, присев на какие-то по своей крепости не совсем надёжные пеньки.

Как-то неожиданно над лесом показалось солнце. И всё вокруг разом переменялось, ожило. Сразу несколько тетеревов уселись на вершины деревьев прямо напротив нас, на другой стороне. Крупные птицы будто оглядывались вокруг. Затем одна из них снялась и полетела на нашу сторону, только значительно правее. Мой спутник осторожно, крадучись, начал к ней пробираться, но я был уверен, что тетерев его к себе на расстояние выстрела не подпустит. Так и вышло.

А диск солнца поднимался всё выше и выше, становясь ярче, раскалённее. И дышать потяжелевшим морозным воздухом, вкус которого незаметно переменялся, наполнившись новыми влажными запахами, было радостно. Ощущалось во всём этом что-то первозданное, незыблемое и оттого, видно, необъяснимая весёлость вселилась в душу. Будто напился живой воды, той, что столько столетий была несбыточной мечтой наших предков.

Выстрел всё-таки прогрохотал. Его звук чужим пугающим эхом отозвался в дальнем заозёрном лесу, спугнув стаю каких-то пичуг со старой раскидистой берёзы. Птицы с шорохом пронеслись над голубоватой по-

верхностью старого, пористого, готового вот-вот исчезнуть, умирающего весеннего льда и вновь скрылись в коричневых прибрежных зарослях засохшего прошлогоднего камыша.

— Ну что, стреляя от отчаяния? — спросил я вернувшегося товарища.

— Не подпустил тетерев, улетел. А ты чего стоишь, как на прогулке в парке отдыха? Руки в карманах, и наверняка даже ружьё не зарядил.

Я неопределённо пожал плечами.

Пройдя по берегу ещё метров сто, мы подошли к бывшей железнодорожной насыпи и поднялись на неё. Когда-то здесь проходила узкоколейка длиной во многие десятки километров, которая тянулась до таёжного посёлка Рустай, что на реке Керженец. Теперь о ней напоминали только догнивающие в земле шпалы. Предприимчивые люди, пользуясь всеобщим бардаком, снимали с них рельсы и скорёхонько сдали на металлолом. Я нашёл под ногой небольшой ржавый костылёк, отёр его о песок и положил себе в карман — вот и вся память, что осталась от узкоколейки, которая столько лет служила, по которой до самой «перестройки» возили лес, торф, продукты для людей и всё тех же грибников, ягодников, охотников. Благодаря этой дороге существовали таёжные посёлки. Теперь всё брошено, по-варварски уничтожено, разграблено.

Мы долго ходили по тропам и ещё не разъезженным до болотной неприглядности лесным дорогам. Выходили к небольшим потаённым озерам, где мой товарищ так-таки и добыл двух нерасторопных чирков. День разгулялся на славу — затеплело вокруг, замарило. Еле заметный лёгкий парок потянулся вверх от просыхающих на взгорках полянок. Дорожные лужи расстались с последним хрустким ледком, который ранним утром ещё потрескивал и ломался под подошвами сапог.

За всё время нашего блуждания я так и не снял ружьё с плеча. Мне не хотелось ни в кого целиться, тем более — убивать. Жизнь вокруг так удивительно красива и хрупка. И мне самому она, может быть, была дана как раз для того, чтобы это прочувствовать и осознать. Да, может быть, именно для этого — кто знает?

Возвращаясь вновь к насыпи, чтобы по ней вернуться в деревню, мы с моим спутником сделали привал у небольшого ручейка. И надо же было такому случиться — на самой его стремнинке стоял, дожидаясь своей добычи, маленький щурёнок. Мой товарищ без труда поймал его рукой и показал мне.

— Смотри, какой карандаш.

Я кивнул головой, улыбнулся.

— Выпусти его, пусть растёт, — посоветовал я своему спутнику.

— Конечно, куда его... Пусть благодарит меня... и Бога, — неожиданно добавил он.

Уже отпущенный вновь в воду щурёнок ещё какое-то время ошалело постоял на месте, словно окончательно не веря в свалившуюся на него удачу, и вдруг в одно мгновение исчез где-то в глубине ручья.

Я, выбрав место посуше — на пригорке, расстелил на земле снятую с себя куртку и лёг. Надо мной было высокое, до бесконечной глубины промытое солнечным светом небо. Оно и восхищало, и манило, и пугало. Потому что вдруг, в неведомо почему открывшийся миг мы все осознаём, что являемся частичкой этой бесконечности. Частичкой неотъемлемой, раз уж было нам даровано это чудо — жизнь.

Поторопивший меня товарищ заставил подняться. Я вновь закинул за плечо ружьё, оказавшееся таким ненужным в этот раз, поднялся на насыпь и посмотрел опять вверх, туда, куда неотрывно глядел мой спутник.

Высоко-высоко в небе большим колышущимся клином летели дикие гуси и что-то оттуда, с немислимой высоты, еле различимо кричали нам, зачарованно стоящим на крохотном клочке земли, затерянном среди множества заволжских озёр и болот.